

С.В. Мельникова

Иркутский государственный университет

Записки алтайских миссионеров и их жанровая специфика*

Аннотация: В статье рассматривается особый род сочинений сибирского духовенства второй половины XIX – начала XX века – т.н. записки миссионеров. Исследуется их жанровая специфика.

Ключевые слова: русская литература, миссионерская литература, жанр, сибирское духовенство.

Записки миссионеров – пожалуй, самый распространенный жанр среди сочинений сибирского духовенства второй половины XIX – начала XX века. Причина – бурное развитие в это время духовных миссий: Енисейской, Забайкальской, Камчатской, Алтайской и др.

Самой значительной среди них была Алтайская миссия. Писать отчеты о своей деятельности, которая главным образом заключалась в поездках и общении с туземцами, входило в обязанности алтайских миссионеров. Ежегодно ко дню памяти основателя миссии архимандрита Макария Глухарева ее сотрудники собирались на съезд, где каждый (не только священники, но и диаконы, и учителя миссионерских школ) был обязан представить вниманию собравшихся свою «записку» – отчет за год.

Лучшие из записок публиковались в «Гомских Епархиальных Ведомостях» в специальном «Миссионерском отделе». Интерес к сочинениям алтайских миссионеров проявляли не только местные, но и центральные духовные журналы, такие как «Странник», «Православный благовестник», «Душеполезное чтение», «Христианское чтение», что способствовало распространению текстов, и они становились широко известны. Среди наиболее заметных авторов, сочинения которых были опубликованы в названных изданиях, помимо самого Макария Глухарева, можно назвать В. Вербицкого, С. Ивановского, М. Чевалкова, И. Смольяникова, Ф. Синьковского, П. Бенедиктова и др.

Записки миссионеров содержат не только официальные сведения и статистические данные о деятельности миссии, но и богатый исторический, этнографический и биографический материал. Многие из авторов обладают не только чувством слога, но и несомненным писательским талантом, приближающим их «официальные отчеты» к литературным произведениям. В настоящей статье нам бы хотелось взглянуть на записки миссионеров именно с эстетической точки зрения – как на памятники документальной литературы XIX века, причем памятники специфические, отражающие мировоззрение, быт и психологию определенной, очень интересной социокультурной прослойки. Несмотря на многочисленность сочинений алтайских миссионеров (опубликованных – несколько десятков, рукописных – более двухсот), в них можно увидеть как содержательную, так и формальную общность, что позволяет говорить о некоей жанровой традиции.

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Роснауки: Гранты Президента РФ для поддержки молодых ученых, грант МК-1421.2007.6.

Конечно, не все миссионерские записки могут быть причислены к документальной литературе. Отчетливо выделяются два типа текстов: одни – с установкой на официальность, другие – на художественность. В «официальных» преобладают факты, имена, статистика, этнографические данные, приводятся подробно беседы и споры с местным населением, часто высказывается мнение о задачах и работе миссии. В «неофициальных» больше живых подробностей путешествий, описаний природы, быта и обычаев местного населения, портретов, авторской рефлексии и психологизма. Эти сочинения и составляют предмет нашего интереса.

«Записки», «путевые заметки», «воспоминания», «дневники» – миссионеры давали своим сочинениям самые разнообразные жанровые определения (как правило, они играли роль заглавий). И действительно, все эти жанры переплетались в миссионерских текстах, поэтому подобрать какое-то обобщающее определение для них довольно сложно. Можно говорить лишь о преобладающем начале. Этим началом, ядром текстов, были **путевые заметки**, что вполне объяснимо объективными причинами – «кочевой» жизнью их авторов.

Формально путевые заметки могут быть организованы как дневник и как связное сюжетное повествование, рассказывающее о прошлом. В миссионерских текстах преобладает дневниковая форма (хотя само определение «дневник» использовалось не так часто). Привычка к дневниковым записям дисциплинировала, развивала наблюдательность, оберегала от риска упустить что-либо важное, она была удобна в пути и давала материал для последующих обобщений.

Вопрос о том, можно ли путевые заметки и дневники относить к мемуарной литературе, до сих пор является спорным в источниковедении. Некоторые исследователи решают его отрицательно на том основании, что мемуары – это повествование о прошлом, а дневники и записки, как правило, «синхронно оценивают действительность», рассказывают о настоящем [Чекунова, 1995, с. 5-6]. Однако дневниковые записи (даже рассказывающие о событиях случившихся всего несколько часов назад), как и любой повествовательный текст, строятся в форме прошедшего времени. Они отражают хоть и недавнее, но все-таки прошлое и содержат рефлексию о нем, и их уже нельзя считать абсолютно синхронными описываемым событиям. В частности, многие дневники и путевые заметки миссионеров несут следы литературной обработки, авторского переосмысления, о чем свидетельствует часто очень высокое качество текстов, а также разного рода обобщения, связывающие отдельные записи и придающие им целостный характер. Кроме того, дневники – это самая распространенная основа для написания собственно мемуаров, или воспоминаний, что указывает на общность их жанровой природы.

Последовательность повествования в путевых заметках и в дневниках предопределяется не столько внутренним авторским замыслом, сколько объективной последовательностью событий действительности и авторских впечатлений. Поэтому говорить о некоем целостном внутреннем сюжете, существующем на уровне авторского замысла, применительно к этим жанрам проблематично, что, однако, не отменяет возможности выделения сюжетных мотивов, скрепляющих повествование. Сопоставив порядка двух десятков миссионерских текстов, мы можем с уверенностью говорить о наличии в них системы устойчивых сюжетных мотивов, среди которых: мотив пути и связанных с ним трудностей и опасностей, бытовые лишения, враждебность туземцев, дикое жертвоприношение, камлание, тщета проповеди (и как антитеза – искреннее стремление туземцев к вере) и др. Эти мотивы уникальны и характерны именно для сочинений миссионеров.

Центральным для записок миссионеров как путевых заметок становится мотив пути и связанных с ним трудностей и опасностей. Например, у Сергея Ивановского (одного из наиболее талантливых, на наш взгляд, авторов) мы встречаем такое описание переправы через плохо замерзшую реку: «Лед, когда мы отправи-

лись по нему, подгибался и дрожал под нами, постоянно угрожая нам провалиться и нас увлечь за собой. Что только перечувствовали в эти минуты, трудно передать это словами. Спасения уже неоткуда было ждать, кроме Бога. Хотелось бы хотя выйти из экипажа и бежать, бежать дальше от грозящей нам опасности, но kloкoтaвшие по ту и другую сторону от нас волны невольно заставляли нас еще глубже, еще плотнее прижиматься к стенкам кошевки. Глаза наши с лихорадочным нетерпением были обращены туда, где был так желанный берег. Но вот и берег... А лед все более и более гнулся и трещал... В это время все, кажется, замерло во мне и я мог только крикнуть: пошел! Лошади рванулись, как будто сами сознавая опасность, и мы были спасены» [Ивановский, 1890, № 11, с. 19].

Прекрасный динамический рассказ, очень точно передающий психологическое состояние автора, его страха, напряжения и радости спасения. Важно, что миссионер рискует не просто так: он спешит к своей пастве. Мотив опасностей пути всегда сопряжен с сюжетом исполнения миссионерского или пастырского долга.

Не менее эмоционален в своем дневнике и Петр Бенедиктов, однако, отталкиваясь от личных впечатлений, он говорит о миссионерской доле в целом: «... сырость и холод прохватывали до костей. В тумане едва за 10 шагов можно различить предметы, а скалы и деревья мелькают перед нами какими-то неопределенными силуэтами. Рассказывают, что во время туманов очень часто теряют дорогу и опытные туземцы... Мгла тумана, шум дождя, вершина горы, кедр, да мы под ним... все это мне представлялось каким-то кошмаром. Голова у меня горела, а самого била лихорадка. В воображении ярко рисуются картины скитаний миссионеров по Алтаю, те ужасы и лишения, которые они описывают в своих записках. Так, правда это, правда!» [Бенедиктов, 1891, с. 11].

Но трудностям и опасностям пути часто противопоставляются красота и величие алтайской природы. Само такое противопоставление достаточно регулярно, и поэтому его также можно считать одним из мотивов.

«Неудобства дороги вполне искупались прелестью тех картин, которые представляла нам окружающая нас местность в своей грандиозной, вечной красоте. В лесу стояла торжественная тишина, полная чарующей таинственности. Вековые сосны и ветвистые березы, покрытые инеем, искрились и сверкали, самыми разноцветными огнями, точно обвитые серебряными кружевами и осыпанные алмазами. Тени, бросаемые от деревьев, причудливо ложились на снег. Величественные пихты, согнувшись в дугу, под напором снега, создавали громадные арки. А дальше за этим лесом, словно... алтари, белели горы...», – читаем мы у Ивановского [Ивановский, 1890, № 11, с. 24].

Такую же мысль, пусть и в менее поэтичной форме, высказывает Петр Бенедиктов: «Но трудность пути вполне искупается тем наслаждением, какое доставляет своим видом долина Катуня...» [Бенедиктов, 1891, с. 11].

Важной структурной чертой мемуаров, с точки зрения С. Минц, является «тип включенности личности автора» [Минц, 1998, с. 86]. Мемуарист стремится вписать себя в некую социальную общность или противопоставить себя ей, на этом строится его «система координат». Для миссионеров такой общностью, с которой развиваются зачастую самые драматические отношения, являлась их паства – еще некрещеное или новокрещенное местное население, или, как чаще всего его называли сами миссионеры, «инородцы». Именно инородцы, по сути, – центральные герои миссионерских текстов.

Лейтмотив в их описании – нищета и убожество быта и своеобразное чувство вины и ответственности, которое испытывают перед ними миссионеры как проповедники и цивилизаторы. Крещение, помимо духовного спасения, было для этих народов гарантией от физического вымирания: будучи окрещенными, туземцы автоматически обеспечивались заботой и поддержкой Российского государства.

Миссионеры, таким образом, были не только источником более высокой духовной культуры, но и залогом физического выживания.

Во многих записках можно найти описание убогих аулов и юрт кочевников, в которых доводится бывать и даже ночевать миссионерам. Вот одно из таких описаний в записках Ивановского: «В одну ночь судьба забросила меня в юрту татарина и оставила во мне воспоминание, которое, должно быть, долго не забыть мне».

Автора поразила нищета юрты: «Юрта была построена конусом из жердей и сверху покрыта одной только берестой. В ней было так тепло, что я счел лучшим не снимать с себя шубы». Далее следует грустно-комический эпизод. Помимо миссионера, в юрте еще ночевал русский крестьянин. И когда он проснулся от холода посреди ночи, чтобы развести огонь, то увидел, что хозяин юрты, который спал у костра обнаженным, только прикрывшись какой-то дерюжкой, уже покрылся инеем. Крестьянин подумал, что тот умер и сказал об этом священнику. Но татарин был жив и, услышав такие слова, вскочил «в чем его мать сама природа создала, с криком набросился на крестьянина, размахивая руками: «Сам помирай, когда хочешь». На эту вспышку крестьянин ответил только гомерическим хохотом».

Впечатление автора от этого эпизода тягостно: «Больно и тяжело было видеть этого татарина и его бедное семейство. Сколько, я думал, таких несчастных разбросано по Алтаю! ...Никому нет до них дела... Лишь только какой-нибудь десяток миссионеров бродят еще по горам и лесам, отыскивая заблудших во мраке невежества и суеверий» [Ивановский, 1890, с. 26].

Это впечатление усиливает эпидемия, которую автор застаёт в Пыже: «Нельзя было смотреть на кочевников без содрогания! Без всякой медицинской помощи, они не имели даже хлеба и поддерживали свою угасающую жизнь только поджаренным ячменем, обращенным в муку (талкан). Больше у них ничего не было» [Ивановский, 1890, с. 27].

Ивановскому опять как будто вторит Петр Бенедиктов: «Тяжелое впечатление произвела на меня и эта грязная юрта, и эти несчастные дети... Скоро ли, скоро ли и для вас заблестит свет Христова учения!». «Зловоние юрты едва не выгнало меня назад, на улицу» [Бенедиктов, 1891, с. 12]. Бенедиктов рисует мрачный, и даже страшноватый, интерьер, в центре которого – разделанная и развешанная повсюду туша жеребенка, его голова без шкуры и тусклый мертвый взгляд. С описанием юрты гармонируют и дополняют его сцены разнузданной калмыцкой пьянки, великого камлания и дикого в своей жестокости обряда жертвоприношения (живую лошадь разрывают на части арканами), описанного и у других миссионеров.

Миссионеры часто ощущают свою чуждость инородцам, их культуре, обычаям, быту («На утро 8 августа мы уже безостановочно доехали до Чемала. Как приятен был чай, приготовленный в русском доме, как вкусен мягкий хлеб и как удобен оказался ночлег на постели с чистым бельем – это знает всякий миссионер, бродивший по дебрям Алтая, где пищей бывают одни сухари, а ночлегом – грязный войлок на грязной земле дымной и полной всякими насекомыми юрты») [Бенедиктов, 1891, с. 18], но они обязаны самым тесным образом проникать в эту культуру, становиться «своими» для новообращенной паствы, поскольку без этого не будет воспринята проповедь.

Так, еще Иннокентий Вениаминов, один из величайших миссионеров XIX столетия, говорил о том, что сначала нужно накормить, вылечить и хотя бы немного образовать дикарей, и только тогда Слово Божье сможет проникнуть в их души. Этой мысли созвучны строки из дневника Стефана Ландышева: «Некоторые весьма ошибочно полагают, что дело миссионера есть только проповедь и учение новообращенных, между тем как не меньше занимают его неизбежные

хлопоты и попечения о благоустроении домашнего быта новообращенных, обычно со времени крещения только начинающих жизнь оседлую и вступающих в христианское общество; очень часто он должен бывает служить, и не через других, а лично, больным; часто ему, и для своих детей не имеющему прислуги, по необходимости доводится иногда даже ходить за бесприютными детьми новокрещенных» [Ландышев, 1859, с. 312].

Жизнь многих миссионеров становится примером подобного служения. С раскрытием этой идеи связана биографическая тема записок. Очень часто на страницах своих «отчетов» миссионеры рисуют портреты или воссоздают биографии своих товарищей по службе.

Например, в записках Иоанна Смольяникова мы находим яркий портрет о. Смарагда. Определяющая черта в его образе – сочувствие туземцам, «включенность» в их жизнь: «...приверженность новокрещенных к о. Смарагду была чрезвычайна, и неудивительно: они делили радушно с ними, можно сказать, последний кусок хлеба... идолопоклонники, соединившись с новокрещенными, просили меня написать общественный приговор о том, что никак не желают расставаться с о. Смарагдом... Сочувствие некрещенных к о. Смарагду происходило от того, что он, живя в Кебезени, кроме радушия и усердия своего к ним, часто беспристрастно решал их споры и недоразумения, примирял ссорившихся, и кое-что писал для них... О. Смарагд, живя в Кебезени, разъезжал верхом и ходил на лыжах по окрестным аулам с проповедью слова Божия, и притом иногда с опасностью лишения жизни...» [Смольяников, 1860, с. 241].

Такое же сочувствие, а также доброта, нестяжательство и терпение становятся главными и в образе другого миссионера – о. Стефана Ландышева, нарисованном в «Воспоминаниях Мьютинского миссионера»: «Бедная обстановка в доме, простота и радушие хозяина, внимательное, чисто отеческое отношение к подчиненным невольно располагало сердца к о. протоиерею. Чем далее мы беседовали, тем яснее для меня становилось, что о. Стефан не изображает собою недоступного строго начальника, а старшего брата, которого стоит только любить... Пока мы сидели у о. протоиерея, его то и дело отрывали от беседы новокрещенные. Один просит ячменя на пропитание, другой – корову для маленьких детей, третий жалуется, что нездоровье помешало ему окончить постройку своей избышки... Всякого приходящего о. Стефан встречал и провожал ласково, без малейшей тени неудовольствия за постоянное беспокойство» [Воспоминания, с. 10].

Авторы часто идеализируют своих товарищей. В этом, а также в некоторой риторичности стиля, нам видится связь с традициями церковной литературы. Но канон для идеализации избирается не из церковной истории. В этом нет необходимости, так как самый яркий и в то же время близкий пример чистоты и ревности служения для алтайских миссионеров – это основатель их миссии архимандрит Макарий Глухарев. Имя архимандрита Макария как некий символ и духовный ориентир упоминается практически во всех сочинениях алтайских миссионеров.

Записки миссионеров не бесконфликтны, их внутренний драматизм предопределен сомнением в эффективности проповеди, которое посещает многих авторов. Частотный мотив – полное равнодушие туземцев к православной вере и ее проповедникам.

Например, иеромонах Макарий в своих записках от 1863 года пишет: «Что говорить и как действовать среди этого беспечного и неподвижного народа? Сколько сделали переездов и говорили, и нет ни одной души, которая бы вняла глазу проповеди! И что можем сделать, если не будет с нами Господь, поспешествующий и слово утверждающий» [Макарий, 1863, с. 70].

Равнодушие инородцев, суровость алтайской природы, бытовые тяготы, неустроенность, необходимость подолгу оставаться одним в глухих деревнях и аулах

среди полудиких и часто враждебно настроенных жителей – вот лишь малая часть психологических проблем, с которыми приходится сталкиваться миссионерам. В целом рефлексия не свойственна миссионерским текстам, их стилистическая доминанта – внешняя описательность, не сосредоточенность на себе, но обращенность к миру. И, тем не менее, в записках встречаются яркие примеры психологизма, вот один из них:

«Накануне нового года, когда замолкли в Кебезенской церкви последние звуки священных песней, давно уже наступила ночь. Вечернее богослужение было кончено. Оставшиеся у иконостаса две, три свечи тускло освещали черные силуэты толпившихся у выхода инородцев.

За дверями храма ветер дул и свистел, заметая тропы, что тонкою змейкой вились по прогалине...

Вокруг глубокие, невылазные сугробы снега сравнивали изгороди и завалили избушки, видневшиеся там и сям между деревьями. Затянутые инеем окна словно хмурились от холода, да невеселой доли и вот-вот, так и казалось, что они хотели как будто заплакать.

Добравшись кое-как до своего дома, я взошел в комнату и зажег лампу. Прошло несколько времени полной, ничем невозмутимой тишины.

Вдруг откуда-то раздался какой-то крик. В горах точно проснулся спящий дух, подхватил этот крик и понес его вдаль, по ущельям, бесконечными перекатами, навевая что-то суровое, тяжелое, и вселяя в душу какое-то сознание одиночества и оторванности от мира. Жалобный писк лампы и тихий стон в трубе еще более увеличивали грусть.

Передо мной витали образы скал, водопадов, тайга, грязь, переезды верхом на лошади через бомы и страшно катящиеся с гор реки. Воспоминания, как рой мошек, носились в моей голове, и тени прошлого обступали меня, как какие-нибудь темные призраки, и мучительно охватывали меня своими невидимыми руками. Из вихря разрозненных отрывочных клочков мыслей особенно яснее других выделялась одна: для чего продолжать такую жизнь?... на что?... Я уходил от себя постепенно и ждал чего-то от полутьмы слабо освещенной комнаты» [Ивановский, 1890, с. 16-17].

Следует отдать должное писательскому таланту миссионера: атмосфера внутренней тревоги и предчувствия чего-то подчеркивается мастерски подобранными психологическими деталями и переходами. «Невозмутимая тишина» сменяется вдруг резким криком («Вдруг откуда-то раздался какой-то крик...») – почти чеховский звук «лопнувшей струны».

Однако, даже говоря о собственных переживаниях, автор-священник использует их лишь как повод для развертывания своего рода притчевого сюжета. Измученному сомнениями и тоской, ему является архимандрит Макарий Глухарев: «Разве ты не можешь почерпнуть», – послышался тихий голос, – “сил, мужества и величия духа из того же источника, из которого черпал и я?!... Кто служит вечному закону любви, того дела будут вечны: любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся и языки умолкнут, и знание упразднится” (1 п. Кор. гл. 13, ст. 8). Для этой любви открыто на Алтае обширное поле деятельности...» [Ивановский, 1890, с. 18].

Видение дает автору силы продолжать служение: отныне все тяготы и лишения миссионерской жизни будут освящены и оправданы словом Макария. Психологическим вектором сочинений многих миссионеров является контраст, смена настроения – от отчаяния и уныния до радости и восторга, от сомнения в силе проповеди до уверенности, что свет истины проникнет в каждую юрту. Антитезой сомнениям и неуверенности авторов часто выступает мотив искренней тяги и приверженности инородцев к вере. Так, в записках Ивановского непосредственно за описанием драматических ночных переживаний следует совершенно противо-

положный по своей эмоциональной окраске эпизод – описание праздника Крещения Господня, служения у иордани. Отмечается усердие инородцев и их благоговейное отношение к службе: «Их влекло сюда не пустое любопытство увидеть торжество праздника, или принять только участие в праздничных пиршествах, как это бывает нередко в русских селениях, но истинное религиозное чувство, чтобы им не быть лишенными общих молитв и святой воды, свойство и значение которой они узнали еще в таинстве крещения» [Ивановский, 1890, с. 18].

Сходные впечатления отразились и в «Воспоминаниях мыотинского миссионера», в описании литургии в Улалинской церкви: «Взглянул я на людей – лица все не русские. В церкви тишина, новокрещенные стоят благоговейно... видя усердие, с каким молились новокрещенные, мне думалось: ныне силы небесные с нами невидимо служат, потому то и дух молящихся так высоко парит. Век апостольский давно прошел, а здесь он продолжается» [Воспоминания, с. 8].

Радость по поводу новообращенных – также традиционный мотив, перечислением тех, кто крестился, заканчиваются многие тексты. С одной стороны – это официальный итог, с другой – логическое завершение внутреннего сюжета, его финальный аккорд: «Как бы ни было – а проповеди миссионеров не остаются бесплодными, чему доказательством служит ежегодное присоединение из язычества нескольких человек, даже в тех отделениях миссии, где язычество еще сильно большинством и влиянием на население своих представителей. Многими миссионерами засвидетельствованы факты, что обратившиеся из язычества поражают иногда своей горячею верой и ревностью по христианской жизни. Припоминая эти поучительные факты, на душе становится отраднo: уныние, готовое овладеть миссионером при видимой бесплодности проповеди бесследно исчезает и ощущается бодрость тела и духа для новых трудов. Поэтому, прочитывая годовые отчеты миссионеров, жадно ищешь этих видимых проявлений благодати Божьей, которые помогают миссионерам переносить бодро их нелегкое служение. В самом деле, не отраднo разве видеть, как готовящаяся к крещению язычница в темном углу, когда ее никто не видит, твердит молитвы, целует надетый на нее крест, или же в холодных сенях, выйдя из комнаты, долго и истово крестится на виднеющуюся церковь, произнося заученные молитвы, как это делала крещенная в декабре (в Чемале) язычница Чайнашь?» [Бенедиктов, 1891, с. 22].

Записки миссионеров – удивительный церковно-исторический, а также биографический источник, ведь за каждым текстом стоит судьба его автора, а многие из авторов – истинные подвижники веры. Как пишет протоирей Борис Пивоваров, «если сколько-либо продолжительное время читать их [алтайских миссионеров, прежде всего самого Макария и его сподвижников] творения (особенно своеручные путевые дневники и переводы) или тщательно читать труды их деесписателей, то вдруг совершенно по-иному начинает восприниматься, можно сказать, просто оживает для читающего и сама книга Деяний Святых Апостолов, в которой алтайские миссионеры вслед за первоапостолом Алтая – отцом Макарием Глухаревым – всегда созерцали “подобный небесам образ Церкви Христовой”» [Пивоваров, 2006].

Мы говорили о том, что путевые заметки и дневники, как правило, не имеют сюжета, однако в сочинениях миссионеров присутствует некий метасюжет, который можно было бы назвать **сюжетом преодоления** – преодоления суровой сибирской природы, преодоления косности и равнодушия туземцев, их дикости и суеверий, и, конечно, преодоления себя – своих страхов, человеческих слабостей, немощей и сомнений.

Наличие устойчивой системы мотивов и тематики позволяют считать миссионерские записки особым жанром, а опора на личный опыт и память авторов – относить их к мемуарной литературе. Если сочинения священников обычно опираются на литературную традицию, например агиографическую, то записки ал-

тайских миссионеров, на наш взгляд, сами активно формируют традицию, которой будут следовать другие миссионеры – не только сибирские и не только в XIX столетии.

Литература

Минц С.С. Мемуары и российское дворянство. Источниковедческий аспект историко-психологического исследования. СПб., 1998.

Пивоваров Б., прот. Духовные истоки Алтайской Духовной Миссии // Богословский сборник. Новосибирск, 2006. № 2.

Чекунова А.Е. Русское мемуарное наследие второй половины XVII–XVIII вв. Опыт источниковедческого анализа. М., 1995.

Записки алтайских миссионеров

Бенедиктов П. Из дневника миссионера Чемальского отделения, свящ. Петра Бенедиктова // Томские епархиальные ведомости. 1891. № 11. С. 6-22.

Вербицкий В. Записки миссионера Кузнецкого отделения алтайской духовной миссии, свящ. Василия Вербицкого за 1858-1871 гг. [Сообщил С.В. Ландышев] // Душеполезное чтение. 1860. Ч. 1. № 2. С. 230-248; № 4. С. 480-494; Ч. 3. № 12. С. 518-538; 1861. Ч. 3. № 9. С. 75-98; 1862. Ч. 1. № 3. С. 266-297; Православное обозрение. 1863. Т. 10. № 2. С. 143-161; 1864. Т. 13. № 2. С. 145-169; 1865. Т. 16. № 2. С. 150-160; № 3. С. 257-274; 1866. Т. 19. № 1. С. 71-94; 1867. Т. 22. № 2. С. 165-180; Душеполезное чтение. 1868. Ч. 1. № 4. С. 151-165; 1869. Ч. 1. № 3. С. 70-76; 1871. Ч. 2. № 6. С. 45-61; № 7. С. 83-93; 1872. Ч. 3. № 11. С. 335-346.

Воспоминания мюютинского миссионера // Томские Епархиальные Ведомости. 1893. № 5. С. 7-17; № 7. С. 6-13.

Дометиан. Записки кебезенского миссионера Алтайской духовной миссии иеромонаха Дометиана за 1864-65 гг. // Душеполезное чтение. 1865. Ч. 3. № 10. С. 56-70; 1866. Ч. 2. № 6. С. 58-62.

Ивановский С. Записки миссионера Алтайской духовной миссии, Кебезенского отделения, священника Сергея Ивановского, за 1889 год // Томские епархиальные ведомости. 1889. № 6. С. 15-43; 1890. № 11. С. 16-28, № 12. С. 3-16; 1891. № 18. С. 7-12; № 19. С. 13-22; 1894. № 11. С. 19-23.

Ивановский С. Поездка на Кулунду начальника миссии Томской епархии епископа Макария (из путевых записок благочинного свящ. Сергея Ивановского) // Томские епархиальные ведомости 1887. № 19,20.

Ивановский С. Из дневника алтайского миссионера, свящ. С. Ивановского // Томские епархиальные Ведомости. 1888. № 13. С. 12-16.

Ландышев С. Выписка из дневника миссионера духовной Алтайской миссии протоирея Стефана Ландышева за 1-ую треть 1859 года // Душеполезное чтение. 1861. Ч. 2. № 7. С. 310-343. То же. Отд. ОтТ. М., 1861.

Макарий (Глухарев). Отрывки из путевых заметок миссионера архимандрита Макария // Христианское чтение. 1834. Ч. 2. С. 209-222, 314-334; Ч. 3. С. 329-338; Ч. 4. С. 328-339; 1836. Ч. 1. С. 87-106; Ч. 3. С. 92-108, 330-345; Ч. 4. С. 314-326; 1837. Ч. 2. С. 90-105, 323-339; 1838. Ч. 3. С. 340-357.

Макарий. Записки миссионера Алтайской духовной миссии иеромонаха Макария за 1861...1863, декабрь 1866 и за 1867 год // Душеполезное чтение. 1862. Ч. 3. № 11. С. 261-280; 1864. Ч. 2. № 6. С. 44-60; № 7. С. 67-80; 1868. Ч. 2. № 8. С. 81-92.

Постников В. Записка мыютинского миссионера, священника Василия Постникова за 1891 год // Томские Епархиальные Ведомости. 1892. № 7. С. 1-18.

Постников В. Записки мыютинского миссионера за 1893 год // Томские епархиальные ведомости. 1894. № 14. С. 26-30.

Путинцев М. Святыни Алтая. Из путевых заметок // Душеполезное чтение. 1884. Ч. 1. С. 210-235.

Сергий. Записки шульбинского миссионера иеромонаха Сергия за 1893-й год // Православный Благовестник. 1894. Т. 1. № 2. С. 51-59; № 3. С. 98-105; № 4. С. 157-162. Др. публ.: Томские Епархиальные Ведомости. 1894. № 12.

Синьковский Ф. Записки алтайского миссионера Черно-Ануйского отделения за 1876-81 гг. М., 1883. Др. публ. (отрывки): Томские Епархиальные Ведомости. 1882. № 1-13.

Смарагд. Записки служащего в Урскульском стане Алтайской духовной миссии иеромонаха Смарагда за 1861-1865 гг. // Душеполезное чтение. 1862. Ч. 2. № 6. С. 136-160; 1865. Ч. 3. № 12. С. 154-166; 1866. Ч. 2. № 5. С. 1-9.

Смольянкин И. Записки алтайской духовной миссии Улалинского отделения миссионера свящ. Иоанна Смольянинова за 1858-59 гг. // Душеполезное чтение. 1860. Ч. 2. № 6. С. 239-244; 1861. Ч. 1. № 3. С. 408-430.

Штыгалева И. Записки миссионера Кондомского отделения Алтайской миссии священника И. Штыгалева за 1894 – 1895 гг. // Томские епархиальные ведомости. 1895. № 10. С. 32-48; 1896. № 9. С. 17-22.

Чевалков М.В. Памятное завещание // Томские Епархиальные Ведомости. 1894. № 8. С. 4-14; № 13. С. 8-18; № 19. С. 1-10; № 21. С. 7-15; 1895. № 16. С. 8-15; № 17. С. 1-14; № 22. С. 24-29; 1896. № 4. С. 13-18; № 6. С. 20-25.